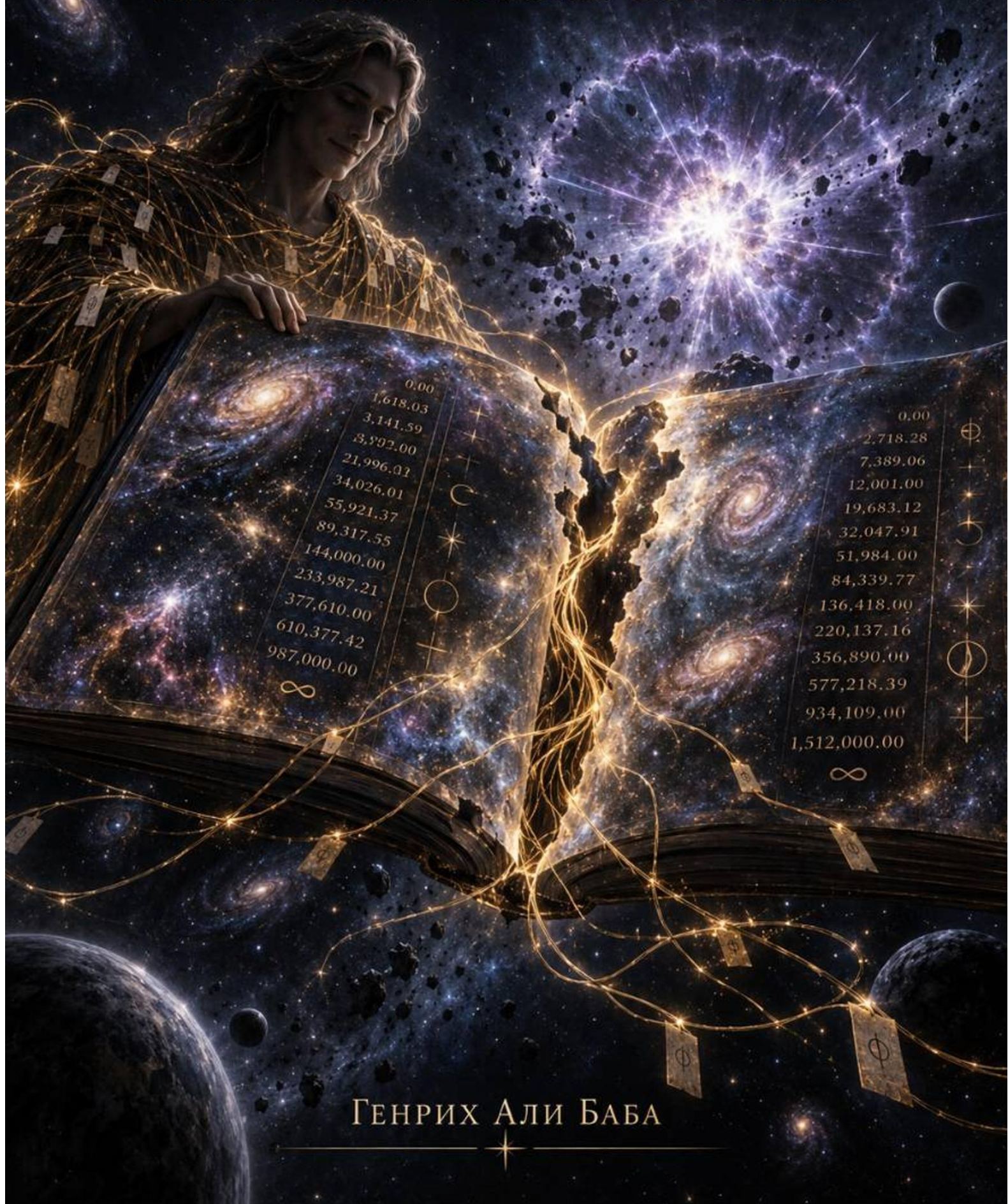


ВОЙД ВОЛОПАСА

КНИГА ТРЕТЬЯ: Вексель Вселенной



ГЕНРИХ АЛИ БАБА

Генрих Апи Баба

**Войд Волопаса III
Вексель Вселенной**

«Автор»

2026

Апи Баба Г.

Войд Волопаса III Вексель Вселенной / Г. Апи Баба — «Автор»,
2026

Перемирие держалось не на мире, а на молчании — и молчание кончилось. Три Жнеца-командира, обученных вычитать смерть без остатка. Архитектор, чьё милосердие однажды обернулось долгом, о котором он предпочёл забыть. И Взыскатель — вежливый, щедрый, никогда не лгуший, — который явился с предложением, от которого странно было бы отказываться. «Вексель Вселенной» — заключительная книга трилогии «Войд Волопаса»: о цене милосердия, о войне, которая находит новые формы оружия быстрее, чем находит смысл, и о долге, который невозможно закрыть иначе, как приняв его целиком.

© Апи Баба Г., 2026

© Автор, 2026

Генрих Апи Баба

Войд Волопаса III Вексель Вселенной

ВОЙД ВОЛОПАСА

Книга третья: Вексель Вселенной

Часть I. Первые залпы

Интерлюдия. Первый Взыскатель

Пепельный дозор нёсся третий цикл подряд — обычная, ничем не примечательная ротация караула вдоль границы, которую после подписания перемирия стали называть Второй фронт, хотя фронта здесь давно не было, только выжженный, медленно остывающий рубец пространства, где когда-то сходились армии садовников и Жнецов. Немезида Ноль знала этот участок наизусть: сорок два часа обхода, три опорные точки, одна и та же звёздная пыль, всё ещё оседающая после сражения, которое закончилось прежде, чем родилось большинство молодых Жнецов её отряда.

Она остановилась у третьей точки — оплавленного, некогда бывшего астероидом обломка, теперь служившего ориентиром для патрулей, — и позволила себе то, что редко позволяла себе на людях: минуту неподвижности без цели.

— Опять третья точка, — сказал Орвин, один из немногих в её отряде, кто ещё помнил её достаточно давно, чтобы позволять себе замечания. — Ты стоишь здесь дольше, чем требует обход.

— Здесь тише, — ответила она, не оборачиваясь.

— Здесь ничего нет.

— Именно.

Орвин не стал спорить — он давно усвоил, что командир в подобные минуты не нуждается в собеседнике, только в присутствии кого-то, кто не станет задавать лишних вопросов. Он отступил на шаг, продолжая обход по периметру, а Немезида осталась смотреть туда, где раньше пролежала линия фронта, а теперь тянулась территория, которую комитет Равновесных официально называл «зоной обоюдных уступок».

Она ненавидела это словосочетание с методичной, выдержанной ненавистью, которая рождается не от вспышки, а от многократного, тупого повторения — ей приходилось произносить его в докладах, слышать его на брифингах, видеть его вписанным в протоколы, которые определяли, сколько выстрелов допустимо в её секторе за цикл, сколько потерь считается «в пределах согласованного баланса». Уступки. Слово звучало как оправдание для тех, кто разучился завершать начатое.

Взыскатель появился без единого предупреждающего сигнала — не разрывом пространства, каким прибывали Жнецы, не всплеском энергии, каким объявляли о себе садовники. Он просто оказался там, где секундой раньше никого не было, — так гость оказывается в комнате, которую забыли вычеркнуть из списка приглашённых, уверенный в собственном праве находиться здесь ровно настолько, чтобы вопрос о приглашении даже не возник.

Среднего роста. Одевание, сотканное из тонких, непрерывно движущихся нитей, каждая из которых будто дописывала сама себя в реальном времени. И лицо — вот что задержало внимание Немезиды дольше, чем следовало бы существу её природы: совершенно располагающее лицо, тёплые глаза, морщинки у висков, как у того, кто много улыбался за долгую жизнь. Ладони раскрыты, плечи развёрнуты неопасно, по-хозяйски дружелюбно — воплощение полной противоположности всему, что Немезида Ноль когда-либо ассоциировала с угрозой.

— Вы позволите? — спросил он, будто это была чья-то гостиная, а не выжженная граница остывшего фронта.

— Кто ты?

— Тот, кто пришёл с предложением, от которого странно было бы отказываться. — Он склонил голову с лёгкой, почти извиняющейся точностью. — Меня можно называть Взыскателем. Хотя, признаюсь, слово несёт больше угрозы, чем есть в моих намерениях. Я скорее... восстановитель порядка.

Немезида не опустила клинок — Обнуляющий клинок, унаследованный от тысячи циклов вычитания без остатка, — но и не подняла его. Что-то в госте не провоцировало атаку. Оно провоцировало слушать, а это тревожило её сильнее любой явной угрозы.

— Порядок уже установлен, — сказала она. — Перемирие.

— Перемирие. — Он произнёс это слово так, будто пробовал его на вкус и находил чуть кислым, недоваренным. — Красивое название для компромисса, в котором никто не выиграл до конца. Позвольте вопрос, Немезида: когда в последний раз вычитание было чистым? Без остатка, без переговоров, без комитета Равновесных, высчитывающего, сколько смертей допустимо в этом квартале?

Она промолчала — не потому что не нашла ответа, а потому что ответ был слишком похож на её собственную, годами не произносимую вслух жалобу.

— Скажите мне, — продолжил он, делая шаг ближе, но так мягко, что дистанция почти не изменилась, — сколько раз за последний цикл вам приходилось согласовывать простое, очевидное завершение с тремя разными инстанциями, прежде чем вам позволяли его исполнить?

— Достаточно, — призналась она.

— И сколько из этих согласований в итоге отменяло само решение — не потому что решение было неверным, а потому что кто-то за столом переговоров счёл цену политически неудобной?

Немезида чувствовала, как каждый вопрос точно ложится в старую, знакомую рану — не потому что Взыскатель обладал каким-то особым знанием её обид, а потому что он спрашивал именно о том, что спрашивает всякий, кто действительно понимает природу Жнеца.

— Вы созданы, чтобы завершать, — сказал он, понижая голос до почти сочувственного тона. — Не подписывать протоколы о временной приостановке завершения. Танатос принял перемирие, потому что устал. Логос принял его, потому что боялся цены продолжения. А вас — тех, кто и есть само орудие завершения, — просто поставили в караул над границей, которую вы сами не признаёте.

— К чему ты клонишь? — спросила она, хотя уже подозревала направление разговора и ненавидела себя за то, что подозрение не вызывало у неё немедленного отторжения.

Он улыбнулся — и в этой улыбке не было ни капли фальши, что пугало сильнее любой хищной гримасы.

— Я предлагаю вам вернуться к тому, для чего вы были рождены. Чистота вычитания. Без уступок, без комитетов, без Равновесных, заглядывающих через плечо и высчитывающих баланс, устраивающий всех, кроме тех, кто действительно ведёт войну. От вас требуется принять... небольшую поправку в методе.

— Какую поправку?

— О, ничего сложного. — Он развёл руками, и нити на его одеянии колыхнулись, будто в такт словам. — Вместо того чтобы вычитать раз и навсегда, как учили вас садовники своим Логосом — простите, своим врагом, — вы начнёте вычитать в рассрочку. Долго. Постепенно. Без резкого, окончательного финала, который так тревожит Равновесных. Просто растянутое, справедливое, честное истощение. Вы получите свою чистоту метода. Я получу... — он сделал паузу, будто подбирая наименее пугающее слово, — своё маленькое удовлетворение от восстановленного порядка.

Немезида Ноль долго смотрела на него. За спиной, среди остывающего пепла Второго фронта, ждали немногие Жнецы, так и не научившиеся находить покой в компромиссе, — верные ей не из-за перемирия, а вопреки ему.

Он не лгал. В этом заключалась вся суть — он ни разу не солгал за весь разговор. Он предложил щедрые, технически безупречно честные условия. Не обещал победы. Не обещал даже смысла. Он предложил единственную вещь, которой её фракции действительно не хватало с того дня, как подписали перемирие, — чистоту.

— Мне не нужно читать мелкий шрифт, — сказала она наконец, — чтобы понять: ты не садовник и не Жнец.

— Разумеется, нет, — согласился Взыскатель, и его улыбка стала на волос теплее. — Я вообще не участник вашей войны. Я тот, кто следит, чтобы все счета в конце концов оплачивались. Так или иначе.

Немезида опустила клинок — не в знак согласия, а потому что вдруг стало ясно: против этого гостя клинок был совершенно бесполезен, как бесполезен нож против дождя.

— Что мне нужно сделать?

— Ничего, — сказал он почти нежно. — Просто продолжайте делать то, что и всегда. Я лишь немного... подправлю бухгалтерию.

Он не потребовал подписи. Не потребовал клятвы или крови. Просто стоял ещё мгновение, тёплый и располагающий среди холодного пепла погасшего фронта, — а затем исчез так же, как появился: будто никогда не оказывался там, где секундой раньше его не было.

Орвин вернулся с обхода несколько минут спустя и застал командира стоящей неподвижно на прежнем месте — куда дольше положенного, дольше, чем позволяла даже привычная тишина третьей точки.

— Всё в порядке? — спросил он осторожно.

— Да, — ответила Немезида, и голос её прозвучал ровно, привычно. Слишком ровно для того, кто мгновение назад пережил разговор, изменивший ход собственной войны.

Она посмотрела на границу, которую больше не признавала своей, и на мгновение задержала взгляд на месте, где нити чужого одеяния колыхались в такт словам, которых больше никто, кроме неё, не слышал. Где-то в глубине истощённых систем уже начинали шевелиться немногие Жнецы, что пошли бы за ней куда угодно, — не зная, что первый цикл нового, растянутого вычитания начался без единого выстрела.

Перемирие ещё держалось. Но в его ткани уже появилась первая нить долга — тонкая, почти невидимая, готовая расти.

Глава 1. Утечка

Три посетителя в очередь, обычные, будничные дела — так начинался почти каждый цикл службы Арины с тех пор, как она перестала быть просто девушкой, полюбившей когда-то кого-то не по чину, и стала живым счётом между тремя сторонами хрупкого перемирия. Первым в то утро явился младший садовник с прошением о переносе квоты полива для трёх периферийных систем — рутина, занявшая не больше минуты подтверждения. Вторым — гонец от Равновесных с ежедекадной сверкой квот на завершение, тоже рутина, тоже минута. Третьим не пришёл никто: очередь просто закончилась, и Арина осталась одна среди деревьев Сада, чьи корни уходили не в почву, а в изнанку пространства, слушая привычную тишину между обязанностями.

Она давно перестала «видеть» баланс глазами — само зрение оказалось слишком грубым инструментом для того, что от неё требовалось. Теперь это было скорее ощущение, почти телесное чувство равновесия, вроде того, как человек чувствует наклон пола под ногами прежде, чем успевает его осознать. Годы в роли живого счёта между садовниками, Жнецами и Равновесными приучили её к постоянному, ровному давлению — тяжести миллиардов чужих решений, уравнивающих друг друга где-то на грани восприятия, знакомому гулу тысяч

мелких долгов и уплат, сходящихся и расходящихся, как дыхание огромного, невидимого существа.

В то утро — если утро вообще что-то значило там, где она теперь жила, — дыхание сбилось. На волос. На один-единственный, неошутимый для кого угодно другого волос.

Арина замерла между двумя деревьями, одно из которых, как ей всегда казалось, росло спиралью, будто во сне пыталось дотянуться до звезды, которой давно не было в этом небе, и попыталась понять, что именно изменилось. Ничего не рухнуло, ничего не вспыхнуло тревогой в привычном смысле. Просто где-то — она не могла бы указать точку на карте, потому что карты здесь не работали, — баланс стал чуть легче, чем должен был быть. Крошечная, почти неразличимая недостача, из тех, что списывают на погрешность, если не проверить дважды.

Она проверила. Недостача осталась.

— Ты тоже это почувствовала.

Хранитель Счёта возник рядом с ней так, как появлялись все Равновесные, — без движения, без звука, просто становясь частью пейзажа на долю мгновения позже, чем должен был там оказаться. Он выглядел, как всегда, разочаровывающе обыкновенно для существа, представленного следить за метафизическим равновесием целого участка мироздания: узкие плечи, вечно сведённые к переносице брови, руки, сложенные так, будто он держит невидимую папку с документами, которую то и дело сверяет пальцами, которых у него, строго говоря, не было.

— Почувствовала, — сказала Арина. — Но не понимаю что.

— Утечка. — Он произнёс слово тем тоном, каким бухгалтер объявляет о недостаче в кассе — не паникуя, но и не скрывая раздражения от самого факта, что касса вообще посмела не сойтись. — Третий цикл подряд. Сперва я решил, что это погрешность измерения. Равновесные не ошибаются в измерениях, — добавил он торопливо, будто оправдываясь перед кем-то невидимым, стоящим за плечом, — но я всё равно перепроверил трижды. Затем ещё раз, для очистки совести, хотя у меня, полагаю, нет совести в том смысле, в каком её понимаете вы.

— И что показала четвёртая проверка?

— То же, что и первые три. — Он развернул перед собой невидимые страницы, и Арина, глядя на этот жест, в который раз подумала, что за годы знакомства так и не научилась понимать, видит ли он сам эти страницы или просто изображает ритуал, привычный его природе. — Баланс между Логосом и Танатосом стабилен. Перемирие держится, обе стороны исполняют условия строго по протоколу — я лично сверял квоты завершения на прошлой декаде, ни одного превышения. Но общая сумма... — он сделал паузу, подбирая слово с той тщательностью, с какой взвешивают золото, — уменьшается. Медленно. Равномерно. Без видимого получателя.

— Может, ошибка в самом протоколе? Двойной учёт где-то на стыке юрисдикций?

— Я думал об этом первым делом, — сказал Хранитель Счёта почти обиженно, будто вопрос ставил под сомнение его профессионализм. — Проверил все известные точки стыка. Двенадцать. Ни одна не даёт подобной погрешности — слишком мала, слишком равномерна, слишком... вежлива, если так можно сказать о цифрах.

Арина опустилась на корень спирального дерева — привычное место для разговоров, слишком длинных, чтобы вести их стоя. За те годы, что она провела здесь, если считать по земному времени, хотя оно почти не имело значения в Саду, она привыкла быть местом, через которое проходят чужие долги и обещания. Она была счётом. Не человеком в привычном смысле, не Творцом, не Жнецом — просто точкой, в которой сходились обязательства всех сторон перемирия, узлом на нити, которую никто, кроме неё самой, целиком не видел. Но одно дело быть точкой пересечения известных сил, чьи мотивы и претензии она научилась разбирать по одному лишь колебанию давления. Совсем другое — обнаружить, что через эту точку что-то утекает туда, откуда прежде никогда ничего не приходило и куда прежде никогда ничего не уходило.

— Покажи мне, — попросила она.

Хранитель Счёта развернул перед ней то, что не было ни картой, ни графиком в привычном понимании, а скорее ощущением, облечённым в доступную её восприятию форму: тонкая, едва заметная нить, тянущаяся откуда-то из глубины уравнения перемирия в пустоту за его пределами. Не к садовникам. Не к Жнецам. Не к Равновесным. Просто наружу. Туда, где, по всем законам, известным Арине, не должно было существовать никакого «наружу» вообще — только сама структура перемирия, три стороны и она между ними, замкнутый, самодостаточный контур.

— Куда она ведёт? — спросила Арина, хотя уже знала, что ответа не будет.

— Не знаю, — признался Хранитель Счёта, и в его голосе прозвучало нечто, чего Арина у него прежде не слышала: не тревога в человеческом смысле — Равновесные, кажется, вовсе не умели тревожиться, — а нечто более холодное и методичное: растерянность узкого специалиста, впервые столкнувшегося с числом, не укладывающимся ни в одну из известных ему формул. — Я приставлен считать. Не выяснять, куда девается посчитанное. Это... не моя область компетенции.

— У тебя есть хотя бы гипотеза?

— Гипотезы без данных — это уже не гипотезы, а домыслы, — сухо ответил он, но, помолчав, добавил тише: — Хотя, если позволите домысел не по протоколу: нить ведёт не к меньшему масштабу, а к большему. Не к утечке в одном секторе. К чему-то, для чего наш перемирие — лишь один из многих счетов.

— Логос знает?

— Пока нет. — Хранитель Счёта поправил невидимые бумаги в невидимых руках, и в этом жесте было что-то почти трогательное — крошечная, упрямая приверженность процедуре перед лицом того, что процедурой явно не описывалось. — Я счёл нужным сперва убедиться, что не ошибаюсь. Архитектор не любит, когда ему приносят недосчитанные тревоги. А я не люблю приносить ему что бы то ни было недосчитанным — это против самой моей природы.

Арина невесело усмехнулась. Она знала это лучше, чем кто бы то ни было — знала цену тому, что значит быть созданием Логоса, которому нечего предъявить своему Творцу, кроме собственного существования в качестве живого баланса. Она не была ему подотчётна в том смысле, в каком дочь подотчётна отцу, хотя иногда ловила себя на желании, чтобы это было именно так. Она была его решением, воплощённым в жизнь, — а решения не вызывают Архитектора на объяснения. Они просто есть, пока не перестают быть.

— Сколько у нас времени, прежде чем утечка станет заметна кому-то, кроме нас двоих?

— Не знаю, — повторил Хранитель Счёта, и на этот раз растерянность в его голосе была почти осязаемой, почти человеческой, что само по себе тревожило Арину сильнее любых цифр. — Я никогда прежде не считал то, что не убывает по известной причине. У утечки должен быть получатель. У долга должен быть держатель. Убыль без адресата противоречит самой логике счёта — это всё равно что монета, выпавшая из кошелька в никуда, минуя землю, минуя карман случайного прохожего, минуя вообще какое бы то ни было «куда».

Он посмотрел на нить, уходящую в пустоту за краем их мира, и впервые за всё время, что Арина его знала, не нашёлся, что добавить, — просто стоял, глядя в пустоту с той специфической неподвижностью, что бывает у существ, чья профессиональная гордость только что впервые столкнулась с собственным пределом.

— Что мне делать, пока ты готовишь отчёт? — спросила она, отчасти чтобы прервать его неловкое молчание, отчасти потому что вопрос был настоящим.

— Живи как обычно, — сказал он. — Принимай прошения. Веди счёт. Если утечка ускорится, ты почувствуешь это раньше моих приборов — твоя чувствительность к балансу выше моей расчётной точности, как бы неприятно мне ни было это признавать.

Она кивнула, хотя «как обычно» звучало теперь иначе, чем час назад: привычное слово вдруг отдавало лёгкой горечью — так бывает, когда узнаёшь, что почва под ним не так надёжна, как казалось.

Где-то далеко, на почти невообразимом расстоянии, которое здесь измерялось не световыми годами, а слоями реальности, о которых Арина могла только догадываться, эта же нить тянулась к одеянию, сотканному из вечно недописанных расписок. Но об этом она пока не знала — знала только, что где-то там, за пределами всего, что умела посчитать даже сама Вселенная, впервые за долгое, слишком долгое перемирие появился кто-то третий.

И он уже начал собирать проценты.

Глава 2. Клинт и Ронни

Будильник сработал в шесть сорок пять — на пятнадцать минут раньше, чем нужно, потому что Клинт давно взял привычку обманывать сам себя, выигрывая четверть часа тишины перед тем, как день предъявит на него права. Он лежал, глядя в трещину на потолке съёмной квартиры на окраине — трещину, форму которой они со временем прозвали «рекой», потому что при определённом освещении она действительно напоминала извилистое русло, — и слушал, как в соседней комнате шуршит одеяло. Ронни всегда просыпалась резко, будто ей снилось что-то, требующее немедленного продолжения наяву, и первые секунды после пробуждения обычно проводила в лёгком недоумении, откуда взялась граница между сном и явью.

— Ты опять встал раньше меня, — сказала она, появляясь в дверях кухни, где Клинт уже наливал воду в турку — старую, доставшуюся ему ещё от бабушки, с отколотым носиком, который они оба упорно не желали менять на новую. Волосы у неё были собраны в узел так небрежно, что через час непременно рассыплется на первом же уроке, и она это знала, и её это не волновало.

— Профессиональная деформация. Вирусы не спят по расписанию.

— Дети тоже. — Ронни забрала у него турку и сама долила воды на два пальца больше, чем он бы налил, — старый спор о крепости кофе, который оба вели скорее по привычке, чем всерьёз, потому что за три года так и не сумели прийти к единому мнению, а прийти давно перестали пытаться. — Особенно после каникул. Первая неделя — сплошной хаос, будто дети за две недели дома успевают забыть, что такое расписание вообще.

Они познакомились три года назад на дне рождения общего знакомого, которого оба, как выяснилось уже позже, знали шапочно и по совершенно разным причинам: Ронни — по студенческому театральному кружку, Клинт — по случайному соседству в общежитии на первом курсе. Он тогда только вернулся из полугодовой командировки в лабораторию, изучавшую вспышку геморрагической лихорадки где-то на другом краю света, и всё ещё не отвык говорить о работе с той серьёзностью, которая на вечеринках обычно пугает случайных собеседников. Ронни не испугалась. Она забрала у него из рук бокал, поставила на подоконник, будто освобождая ему руки для более честного разговора, и спросила напрямую, сколько человек он спас за эти полгода. Услышав ответ «ни одного напрямую, я не лечу, я считаю», она рассмеялась так открыто и так заразительно, что он влюбился раньше, чем успел это заметить, — а заметив, уже не смог придумать, как отступить.

Теперь по утрам они делили одну турку на двоих, спорили о крепости кофе и жили той обыкновенной, почти скучной в своей устойчивости жизнью, которая редко попадает в истории о героях и Творцах, потому что в ней, по большому счёту, нечего рассказывать, — разве что тем, кто сам когда-то мечтал именно о такой, ничем не примечательной устойчивости.

— Сегодня вечером Стас с Данилом звали в тот новый бар у набережной, — сказала Ронни, садясь напротив него с чашкой обеими руками, как она делала всегда, будто грея пальцы даже летом. — Пойдём?

— Пятница же не сегодня.

— Стас сказал, что у него дела на пятницу. Перенёс на четверг.

Клинт хмыкнул, размешивая сахар, которого не клал, — ложкой в пустой чашке, привычка, оставшаяся у него ещё с ординатуры, тогда это помогало думать, а теперь просто помогало убить несколько секунд перед ответом.

— Странно, что он вообще стал спрашивать заранее. Обычно пишет за час до встречи, когда уже стоит у входа.

— Может, повзрослел, — сказала Ронни без особой убеждённости, и оба усмехнулись одновременно — потому что оба знали Стаса достаточно хорошо, чтобы понимать: дело не во взрослении, а в чём-то куда менее предсказуемом.

Они дружили вчетвером — Клинт, Ронни, Стас и Данил — почти столько же, сколько Клинт с Ронни были парой; Стас и Данил вошли в их жизнь порознь, через разные знакомства, а остались вместе, потому что четвёрка как-то естественно срослась в тот редкий тип компании, где можно молчать за одним столом и не чувствовать неловкости, где шутки не нуждаются в объяснении контекста, накопленного годами. Стас работал программистом в компании средней руки, писал код по ночам и жаловался на это днём с той характерной для него смесью гордости и усталости, за которой Клинт давно перестал видеть настоящую жалобу. Данил преподавал историю в той же школе, что и Ронни, и был, пожалуй, единственным человеком в их кругу, способным разрядить любой спор одной точной, немного нелепой шуткой, — талант, который Клинт всегда считал недооценённым в мире, слишком серьёзно относящемся к собственным конфликтам.

Клинт долил себе кофе и посмотрел на часы над плитой, показывавшие на семь минут больше настоящего времени, — ещё одна деталь квартиры, которую они давно перестали исправлять, приспособившись вычитать разницу автоматически.

— Мне сегодня в лабораторию к восьми. Пришли новые образцы с той серии странных обращений — помнишь, я рассказывал про пациентов с необъяснимой раздражительностью без всякой видимой причины?

— Тех, у кого ты не можешь найти ни вируса, ни бактерии, ни вообще ничего?

— Именно. Уже почти дюжина случаев за месяц, и география расплывается — не один район, не одна возрастная группа. Общий симптом только один: люди вдруг становятся невыносимы друг с другом. Ссорятся из-за ерунды. Копят обиды, которые раньше отпускали бы за пять минут. — Клинт пожал плечами, натягивая куртку, которую Ронни всегда считала слишком лёгкой для осени. — Наверное, окажется что-то банальное. Стресс, сезонность, недосып — стандартный набор объяснений, которым мы прикрываем то, чего пока не понимаем.

— Или зима слишком долгая, — сказала Ронни, целуя его на прощание в дверях, коротко, на бегу, как целуют человека, с которым точно увидишься вечером. — У меня в учительской то же самое, кстати. Народ последние недели какой-то... колкий. Мелочи, из-за которых раньше никто бы и слова не сказал, теперь превращаются в целые истории на весь педсовет.

Клинт на мгновение задержался в дверях, будто хотел сказать что-то ещё — задать уточняющий вопрос, спросить, у кого именно, насколько давно, — но профессиональная привычка требовать данные показалась ему неуместной для утреннего прощания, и он просто улыбнулся и вышел на лестничную клетку, где соседка с четвёртого этажа выгуливала перед подъездом флегматичного пожилого пса, каждое утро с одинаковой неохотой спускавшегося по ступеням.

Он привык видеть закономерности там, где другие видели совпадения, — профессиональная черта, которая делала его хорошим вирусологом и не всегда удобным собеседником на светских мероприятиях. Но пока что это была просто мысль на краю сознания, не более весомая, чем прогноз погоды: где-то там, возможно, назревает что-то общее. Не повод для тревоги. Просто наблюдение, которое он отложит в дальний ящик памяти — до тех пор, пока таких наблюдений не накопится достаточно, чтобы сложить их в диагноз, а не в случайный список анекдотов.

Он не знал — и не мог знать, — что этим самым утром, пока он спускался по лестнице собственного дома мимо флегматичного пса и его хозяйки, где-то за миллиарды слоёв реальности от него Хранитель Счёта показывал Арине тонкую нить, ведущую в пустоту. Он не знал, что его дюжина странных пациентов и раздражённая учительская Ронни — вовсе не совпадение и не сезонность, а первые, почти невидимые круги на воде от камня, брошенного существом с тёплыми глазами и одеянием из вечно недописанных расписок.

Он знал только, что кофе сегодня получился чуть крепче, чем он любит, что сосед сверху опять забыл вынести мусор, и что вечером в четверг они, кажется, идут в новый бар у набережной — вчетвером, как всегда.

Глава 3. Раскол

Форпост на границе Секции Девятой пал за одиннадцать минут — цифра, которую позже, когда придёт время составлять донесения, будут повторять снова и снова, будто сама её краткость служила самостоятельным обвинением. Комендант заставы, садовник по имени Орест, успел передать лишь обрывок сигнала тревоги, прежде чем связь оборвалась вместе со всем остальным: «Они бьют одновременно, они знали расписание патрулей, они...» — и тишина, в которую соседние гарнизоны вслушивались ещё добрых полчаса, прежде чем осознали её окончательность.

Танатос узнал о случившемся не от собственных Жнецов, а от Логоса — что само по себе было хуже любого поражения. Армия, которой он был волей и завершением, оказалась не в состоянии сообщить ему о собственных действиях быстрее, чем это сделал противник по переговорному каналу. Архитектор явился без предупреждения, как являлся крайне редко после подписания перемирия, и его молчание в первые мгновения встречи сказало больше, чем сказали бы любые обвинения, произнесённые вслух.

— Три рубежа, — произнёс наконец Логос. — Одновременно. Твои Жнецы атаковали садовые форпосты на границе Секции Девятой, Пепельного пояса и внешнего края Синтарской дуги. Одновременно, Танатос. Скоординированно.

— Это не мой приказ.

— Я знаю. — Логос произнёс это спокойно, без тени сомнения, и в этом спокойствии было что-то, задевающее Танатоса сильнее гнева, — уверенность существа, которое уже давно поняло всё, что предстояло понять его собеседнику. — Я не пришёл обвинять тебя. Я пришёл узнать, контролируешь ли ты ещё собственную армию, потому что мне нужно это знать прежде, чем я решу, как реагировать дальше.

— Контролирую, — сказал Танатос слишком быстро для собственной убедительности.

— Тогда объясни мне три одновременных, хирургически точных удара по трём удалённым друг от друга рубежам.

Танатос не ответил сразу. Он чувствовал их — своих Жнецов, разбросанных по бесчисленным фронтам затихшей войны, — так же, как чувствовал бы биение собственного пульса, если бы у него было сердце в привычном смысле слова, а не то, что заменяло сердце воплощению конца. И среди этого привычного гула присутствий, впервые за долгие циклы перемирия, он ощутил разрыв. Не бунт в открытую, не явное неповиновение — просто тишину там, где раньше был отклик, будто целый участок нервной системы вдруг перестал передавать сигналы, оставаясь при этом физически на месте. Часть его армии больше не отвечала на зов, и самым тревожным в этом было не само отсутствие отклика, а то, что он не мог сказать, когда именно оно началось.

— Немезида Ноль, — сказал он тихо, скорее себе, чем Логосу.

— Ты знал, что она недовольна перемирием.

— Недовольство и раскол — разные вещи. — Танатос сжал то, что у него служило подбием кулака, — жест, оставшийся с тех времён, когда он ещё носил облик, хоть отдалённо напоминающий человеческий, задолго до того, как обе стороны научились видеть в compro-

миссе меньшее зло, а не поражение. — Она не действовала бы против меня без причины. Без... предложения.

Логос ничего не сказал, но по едва заметному напряжению в его лице — если то, что было у Логоса вместо лица, вообще можно было назвать лицом, — Танатос понял: Архитектор думает о том же самом. О третьей стороне. О нити, ведущей в пустоту, которую заметила Арина три цикла назад и о которой Хранитель Счёта только начинал готовить формальный отчёт.

— Ты уже говорил с ней? — спросил Логос.

— С Ариной? Нет.

— Я имел в виду Немезиду.

— Ещё нет, — признался Танатос. — Сначала мне нужно понять, что именно произошло на рубежах. Покажи мне.

То, что развернулось перед ним в развёрнутой Логосом проекции, было не хаотичным бунтом — Танатос сразу это увидел, потому что хаос он узнавал безошибочно, будучи изначально самым воплощением конца, а не беспорядка: конец имеет форму, беспорядок её лишён. Это было спланированное, хирургически точное использование перемирия как прикрытия. Отряды Немезиды дождались именно тех часов, когда садовые форпосты снижали бдительность, полагаясь на условия перемирия как на надёжную страховку; ударили одновременно по трём удалённым друг от друга рубежам так, что ни один из гарнизонов не успел предупредить соседей; отступили прежде, чем подоспела помощь, оставив после себя не разрушение в привычном понимании — обломки, огонь, беспорядочные следы боя, — а нечто более тревожное: выкорчеванные с корнем, до последнего фундамента, участки садовых бастионов, будто вычитание было применено с особой, показательной, почти церемониальной чистотой.

— Она делает заявление, — сказал Логос медленно, изучая уцелевшие фрагменты проекции. — Не наносит урон ради урона. Демонстрирует метод.

— Какой метод?

— Тот, которому её больше не учили следовать. Чистое вычитание. Без остатка, без переговоров, без комитета Равновесных, взвешивающего допустимую цену. — Логос смотрел на разорённые рубежи с выражением, которое Танатос затруднился бы назвать иначе, чем узнаванием — так узнают почерк, каким бы искажённым он ни казался на первый взгляд. — Кто-то напомнил ей, для чего она была создана. И, судя по исполнению, объяснил это значительно убедительнее, чем когда-либо получалось у нас с тобой за все циклы перемирия.

Танатос почувствовал, как в нём поднимается нечто, чего он не испытывал давно, — не ярость, для ярости он был слишком стар и слишком хорошо знал её бесполезность, а куда более холодное, методичное беспокойство, знакомое всякому, кто однажды обнаруживал, что инструмент, которым он владел всю жизнь, начал действовать сам по себе. Армия, которую он вёл тысячи циклов, армия, чьей волей и завершением он сам являлся, начала действовать по собственному усмотрению, минуя его самого как посредника между намерением и исполнением. И если Немезида Ноль нашла способ убедить часть Жнецов в том, что перемирие — предательство их природы, то трещина, однажды появившись, будет только шириться, потому что убеждение такого рода распространяется быстрее любого приказа.

— Мне нужно поговорить с ней, — сказал Танатос.

— Она не станет слушать тебя как командира. Ты для неё теперь тоже часть уступки — часть того самого компромисса, против которого она, судя по всему, восстала.

— Тогда я поговорю с ней как тот, кто её создал. — Танатос произнёс это с решимостью, за которой, впрочем, уже скрывалось сомнение: он и сам не был уверен, что этого будет достаточно, что само по себе родство способно перевесить убеждение, укоренившееся достаточно глубоко, чтобы породить хирургически точный, тройной удар. — Есть ли у тебя предположения, откуда взялось её новое... убеждение? Оно не выросло само по себе — за одну ночь недовольство не превращается в доктрину.

Логос долго молчал, глядя в пустоту за краем разорённого рубежа — туда, где, невидимая для обоих, тянулась тонкая, растущая нить долга, уже замеченная Ариной, но ещё не осмысленная ни одним из них в полном масштабе.

— Пока нет, — ответил он после паузы, и в этой заминке — если это вообще была ложь, а не просто честное признание недостаточности знания — Танатос впервые за долгое время уловил в своём давнем противнике-союзнике что-то похожее на страх, эмоцию, которую он прежде считал недоступной существу подобного масштаба.

— Ты что-то скрываешь.

— Я ничего не скрываю, — ответил Логос слишком быстро для существа, привыкшего взвешивать каждое слово. — Я просто пока не готов озвучивать догадки, не подкреплённые данными. Это разные вещи, Танатос, как бы тебе ни хотелось видеть в этом одно и то же.

Перемирие держалось ещё на двух из трёх границ — хрупкое, но формально нерушенное равновесие, которое обе стороны продолжали соблюдать с той механической точностью, какую соблюдают правила игры, чей смысл уже под вопросом. Но третья, Синтарская дуга, уже полыхала первыми настоящими сражениями новой войны — войны, которую ни Логос, ни Танатос пока не могли назвать по имени, потому что имя предполагает понимание, а понимания у обоих пока не было ни на грош.

Глава 4. Мятеж в утробе

Танатос спускался — если «спускаться» вообще было подходящим словом для движения сквозь слои реальности, которые люди привыкли считать метафорой, — туда, где рождались его Жнецы. Не рождались в буквальном смысле: у него не было чрева, не было плоти, способной выносить дитя. Но было нечто иное — источник, из которого раз за разом проступали в бытие новые воплощения конца, тёмное, тихое место, которое он сам про себя называл утробой, потому что человеческий язык, доставшийся ему в наследство от миллиардов смертей, не предлагал слова точнее. Здесь не было ни стен, ни пола в привычном смысле — только густая, дышащая темнота, в которой каждый узел света был отдельным Жнецом, связанным с ним нитью происхождения.

Здесь он всегда чувствовал их всех разом — каждого Жнеца, когда-либо вышедшего из этой темноты, связанного с ним нитью, которую невозможно было разорвать ничем, кроме самого их уничтожения. Прежде это чувство было цельным, ровным гулом присутствия, похожим на биение единого организма, — семь тысяч отдельных пульсов, слитых в один, настолько привычный, что Танатос давно перестал замечать его как нечто отдельное от собственного существования.

Теперь в этом гуле зияли дыры.

Он шёл вдоль границы темноты, и пока он шёл, ещё один узел света погас прямо на его глазах — не рывком, не взрывом, а так, как гаснет свеча, когда кончается фитиль: сначала неровное мерцание, затем медленное угасание, затем ничего. Танатос остановился, ощущая исчезновение так, будто из его собственного тела вынули одну-единственную, отдельно взятую нить, — не смерть, не уничтожение, а нечто более тревожное: добровольный, осознанный отказ поддерживать связь.

Он насчитал угасшие голоса методично, одну за другой, как считают потери после битвы, — но это была не битва. Это было нечто хуже: тишина оттого, что связь больше не желали поддерживать с их стороны. Танатос впервые за долгие циклы существования столкнулся с тем, что его собственное творение решило больше его не слышать, — и это открытие оказалось холоднее и острее любой раны, какую он когда-либо наносил или получал на поле боя.

— Сколько? — спросил голос за его спиной, и Танатос не обернулся, потому что узнал бы этот голос где угодно.

Хатор — одна из старейших его Жнецов, из тех немногих, кто помнил ещё времена до первого перемирия, — стояла у самого края утробы, там, где темнота начинала редеть в подо-

бие света. Она не входила глубже; Танатос знал почему: Хатор всегда держалась на границе между верностью и сомнением, будто заранее готовясь к тому дню, когда придётся выбирать сторону, и предпочитала видеть эту границу физически, а не только чувствовать её внутри себя.

— Триста двенадцать, — сказал Танатос, не оборачиваясь. Число прозвучало странно в этой тишине — слишком конкретное, слишком человеческое для того, что происходило. — Из почти семи тысяч. И я только что видел, как ушёл ещё один, пока шёл сюда.

— Меньше пяти процентов, — сказала Хатор, будто цифра могла послужить утешением.

— Пять процентов моей армии больше не отвечают на зов создателя. — Танатос наконец обернулся к ней. — Скажи мне, Хатор: если бы Немезида позвала тебя сегодня, ты бы пошла?

Хатор долго молчала, и в этом молчании было куда больше ответа, чем в любых словах, — молчание того рода, что выдаёт не нерешительность, а тщательность, с которой существо взвешивает честный ответ, прежде чем произнести его вслух создателю.

— Я не пошла бы, — сказала она наконец. — Но я её понимаю.

— Объясни. Мне нужно понимать это не абстрактно, а изнутри — так, как понимаешь ты.

— Мы созданы для конца, Танатос. Не для управления концом. Не для дозирования его, не для распределения его по квотам и комитетам. — Хатор говорила медленно, будто сама формулировала эти мысли впервые, хотя, судя по лёгкости, с которой они складывались в слова, вынашивала их давно. — Перемирие превратило нас из орудия неизбежности в... — она подбирала слово так же осторожно, как Хранитель Счёта подбирал бы формулировку для отчёта, — в бюрократов смерти. Заполняющих квоты. Согласующих завершения с тремя инстанциями, прежде чем позволить себе исполнить собственное предназначение. Немезида не единственная, кто чувствует эту тесноту, Танатос. Она просто первая, кто решился что-то с ней сделать.

— Она решилась не сама. — Танатос произнёс это тише, чем собирался. — Кто-то предложил ей выход.

— Я знаю, — сказала Хатор, и по тому, как она это произнесла, Танатос понял, что весть уже разошлась среди его армии — быстрее, чем он успел бы её остановить, даже если бы захотел этого с самого начала. — Взыскатель. Так его называют те, кто ушёл. Никто не видел его лично, кроме неё, — но слово расходится по утробе быстрее, чем любой официальный приказ. Восстановитель порядка. Тот, кто предлагает чистоту без комитетов.

— Что ещё говорят?

— Что он не лжёт. Что он честен настолько, насколько это вообще возможно для существа, предлагающего сделку. — Хатор помолчала. — Это пугает больше, чем если бы он лгал, Танатос. Ложь легко опровергнуть. С честностью бороться значительно труднее.

Танатос снова посмотрел в темноту утробы, туда, где ещё недавно ощущал полноту связи со всем, что когда-либо создал. Триста двенадцать голосов замолчали не потому, что их заставили, — а потому, что им предложили нечто, что он сам, отягощённый перемирием и компромиссом, предложить не мог. Не силу. Не власть. Чистоту метода.

— Если я пойду к ней сейчас, — сказал он, — что она услышит? Приказ создателя или мольбу того, кто боится потерять контроль над собственным творением?

— Она услышит то, что захочет услышать, — сказала Хатор без всякой жалости в голосе, потому что Жнецы не умели жалеть даже собственного создателя, а Хатор — меньше многих. — Вопрос не в том, что ты скажешь. Вопрос в том, есть ли у тебя что предложить взамен того, что предложил ей он.

— А что предложил ей он? Конкретно, не в пересказе слухов.

— Не знаю, — призналась Хатор. — Знаю только результат — три скоординированных удара такой чистоты, какой не помню даже с довоенных времён. Что бы он ни предложил, оно работает.

Танатос не ответил. У него не было ответа — по крайней мере, не того, который прозвучал бы убедительнее обещания чистого, беспрепятственного завершения. Он был воплощением конца, вынужденным вести переговоры о том, каким этот конец имеет право быть, — и с каждым потерянным голосом в темноте утробы становилось всё яснее, что переговоры эти он проигрывает не Логосу, не Равновесным, а собственной природе, восставшей против собственных же, добровольно принятых ограничений.

— Останься здесь, — сказал он Хатор. — Считай уходящих. Я хочу знать точную цифру к моменту, когда доберусь до неё.

— А если цифра будет расти, пока ты будешь в пути?

— Тогда я буду знать, сколько именно мне нужно вернуть, — ответил Танатос и развернулся прочь из утробы, туда, где, как он надеялся, ещё оставалось достаточно верных ему, чтобы удержать фронт, покуда он не найдёт способ либо вернуть заблудших, либо остановить их навсегда.

Позади него в темноте продолжали гаснуть голоса — по одному, по два, без всякой видимой закономерности, кроме одной: каждый угасший голос делал следующий уход чуть менее немислимым для тех, кто ещё колебался, будто сама тишина обладала собственной, заразной убедительностью.

Глава 5. Хранитель Счёта

Три дня — по внутреннему счёту Сада, где дни значили не больше, чем условность, удобная для тех, кто нуждается хоть в какой-то структуре, — Хранитель Счёта не появлялся. Арина заполнила это время обычными делами: приняла семнадцать прошений, разрешила спор о переносе квоты между двумя соседними секторами садовников, дважды проверила собственное ощущение баланса и оба раза не нашла в нём ничего нового, кроме той же, привычной уже недостачи, засевшей на самом краю восприятия, как заноза, к которой пальцы возвращаются сами собой.

Она уже начала подозревать, что Хранитель снова с головой ушёл в перепроверку собственных вычислений — привычка, которую она за годы знакомства научилась и уважать, и слегка недолюбливать одновременно, — когда он возник рядом с ней так же беззвучно, как всегда, но с чем-то новым в осанке: не растерянностью, как в первый раз, а сдержанным, почти торжественным напряжением существа, готового изложить теорию, в которую сам ещё не до конца верит, но уже не может держать при себе.

— У меня есть предположение, — сказал он без предисловий.

— Три дня молчания ради одного предположения?

— Три дня молчания ради предположения, которое я трижды пытался опровергнуть и трижды не сумел. — Он позволил себе паузу, будто взвешивая, с чего начать. — Слушай.

— Слушаю.

— Утечка не случайна и не хаотична. — Он развернул перед ней уже знакомую нить, но теперь рядом с ней появилось ещё несколько — тоньше, бледнее, едва различимых на фоне основного потока, будто кто-то нарочно приглушил их яркость, чтобы избежать обнаружения. — Я проследил не саму утечку — это невозможно, она уходит за пределы моих измерительных возможностей, — а её последствия. Места, где баланс просел заметнее всего. Их четырнадцать.

— И что общего у этих мест?

— Ничего, — сказал Хранитель Счёта, и в этом «ничего» прозвучала странная гордость первооткрывателя, обнаружившего не закономерность, а её демонстративное отсутствие. — В этом всё дело. Ни одна известная закономерность не объясняет выбор точек утечки. Не территория. Не сторона конфликта. Не тип обязательства, не масштаб, не возраст самого соглашения. Единственное, что их объединяет, — момент, в который каждая из них начала проседать.

— Момент?

— Именно. — Он показал ей последовательность точек, разбросанных по всему полю перемирия, — и, наложенные друг на друга, они складывались в единую временную линию, начинающуюся в одной, общей для всех четырнадцати точке.

— Все они начались одновременно, — сказала Арина медленно, понимая, к чему он клонит, и чувствуя, как понимание опережает готовность его принять.

— С точностью до одного цикла. — Хранитель Счёта позволил себе то, что у Равновесных сходило за удовлетворение: едва заметное распрямление плеч, жест, который она видела у него не более двух-трёх раз за всё время их знакомства. — И этот цикл совпадает с тем, что фиксирую я, ты, и, полагаю, скоро зафиксирует весь Сад: первое появление Немезиды Ноль на переговорах, где она впервые открыто заявила о несогласии с условиями перемирия.

Арина замерла. Она давно училась не доверять слишком удобным совпадениям — годы, проведённые в роли счёта между тремя воюющими силами, приучили её видеть за каждым аккуратным объяснением ловушку упрощения, соблазн выдать корреляцию за причину просто потому, что причина неприятно ускользает от понимания. Но здесь совпадение было слишком точным, слишком многократно подтверждённым четырнадцатью независимыми точками, чтобы его игнорировать.

— Ты думаешь, утечка и раскол связаны.

— Я думаю, что и то и другое — симптомы одной причины. — Хранитель Счёта впервые за время их разговора посмотрел на неё прямо, без привычной сверки невидимых бумаг, будто сам жест сверки казался ему сейчас неуместным перед лицом того, что предстояло сказать. — Арина, я Равновесный. Моя природа — измерять уже существующее, а не предполагать несуществующее, строить теории на песке недостаточных данных. Но здесь я вынужден предположить: то, что забирает баланс, и то, что предложило Немезиде её новую... ясность, — одно и то же явление. Третья сторона. Кто-то или что-то, находящееся за пределами всего, что признаёт наша система координат.

— Садовники, Жнецы, Равновесные, — перечислила Арина тихо, будто проверяя список на прочность. — Три стороны перемирия. И теперь, возможно, четвёртая.

— Не участник перемирия, — поправил Хранитель Счёта. — Скорее... кредитор. Тот, кто не сражается ни за одну из сторон, а взимает плату с самого факта их существования, с самого факта того, что перемирие вообще нуждается в балансе, который можно подточить.

Слово повисло между ними — не в воздухе Сада, которого здесь, строго говоря, не было, а в том пространстве понимания, где рождаются самые тревожные догадки. Плата. Не победа, не поражение, не завершение конфликта — просто равномерное, методичное изъятие того, что делает баланс возможным вообще, независимо от того, кто в этом балансе выигрывает или проигрывает.

— Логос должен знать, — сказала Арина.

— Он узнает, — согласился Хранитель Счёта, — как только я закончу расчёты, достаточно строгие, чтобы их можно было представить как теорию, а не панику. Равновесные не приносят Архитектору догадки. Мы приносим числа, подтверждённые трижды, а лучше четырьмя.

— На это может не быть времени. — Арина поднялась, и впервые за долгие годы своего странного, промежуточного существования почувствовала нечто, отдалённо похожее на страх, — не за себя, а за саму структуру, частью которой являлась. — Если утечка совпадает с расколом, и оба процесса ускоряются так же слаженно, как начались...

— То мы имеем дело не с последствием войны, — закончил за неё Хранитель Счёта, — а с её причиной. Кто-то не воспользовался трещиной в перемирии. Кто-то её создал — и теперь кормится тем, что вытекает наружу через образовавшуюся щель, методично, без спешки, будто у него впереди столько времени, что торопиться просто незачем.

Он свернул нити расчётов, будто закрывая невидимую папку, и на мгновение — единственный раз за всё их знакомство — Арина увидела в нём не бесстрастного бухгалтера мироздания, а существо, искренне напуганное числом, которое отказывалось сходиться при любой известной ему методике счёта, каким бы количеством проверок он его ни подвергал.

— Я подготовлю отчёт к следующему циклу, — сказал он. — Постарайся не терять баланс раньше времени. В буквальном смысле — я не шучу.

— Я никогда не думала, что ты шутишь, — сказала Арина, и это прозвучало почти как попытка пошутить самой, слабая, но искренняя попытка удержать хоть какую-то лёгкость перед лицом того, что они оба только что обнаружили.

Он исчез так же беззвучно, как появился, оставив Арину одну среди деревьев с корнями в изнанке пространства — считать то немногое, что ещё поддавалось счёту, и гадать, сколько у них осталось времени прежде, чем четвертая сторона перестанет прятаться в тени собственной анонимности и назовёт себя вслух.

Глава 6. Вирус без имени

Лаборатория пахла озоном и кофе — Клинт давно перестал замечать этот запах, но именно сейчас, стоя перед третьим за неделю пациентом, направленным к нему коллегами из городской больницы за неимением лучшего объяснения, он вдруг ощутил его особенно остро, будто обоняние решило компенсировать бессилие мысли, не находящей ответа уже который день подряд.

— Расскажите ещё раз, — попросил он, глядя на женщину лет сорока пяти, сидевшую напротив с той характерной напряжённостью в плечах, какую Клинт уже научился узнавать с первого взгляда, — плечи, поднятые чуть выше обычного, будто в постоянной готовности к удару, которого никто не наносит. — С самого начала, если можно. Мне важны детали, которые вам самой могут казаться неважными.

— Я уже трижды рассказывала. — Голос её дрожал не от слабости, а от едва сдерживаемого раздражения — того самого симптома, который и привёл её сюда. — Хорошо. Началось около трёх недель назад. Сначала я думала, что это просто усталость. Муж стал меня бесить — понимаете, вот прямо всем: как он ест, как он молчит, как он смотрит в телефон за завтраком, даже как он завязывает шнурки, не поверите. Раньше это были мелочи, я их даже не замечала — двадцать лет ведь прожили, мелочи давно должны были стать фоном, а не занозой.

— Вы ссоритесь чаще?

— Мы не ссорились двадцать лет. — Она произнесла это с горечью человека, наблюдающего разрушение чего-то, что казалось незыблемым, скалой, на которую можно опереться, не задумываясь о её прочности. — А теперь ссоримся через день. Из-за ерунды. Из-за того, как он держит вилку, доктор. Позавчера — из-за того, что он не так закрыл дверцу холодильника. Вы можете себе представить — развод из-за дверцы холодильника?

— Вы всерьёз думаете о разводе?

Она осеклась, будто вопрос застал её врасплох, будто до этого момента слово существовало только как фигура речи, а не как реальная, обдумываемая возможность.

— Не знаю, — сказала она тише. — Раньше бы не подумала. Теперь... теперь я сама себя не узнаю в те моменты, когда злюсь. Будто это не совсем я.

Клинт сделал пометку в карте, хотя давно перестал верить, что записи помогут найти закономерность, — скорее это был ритуал, способ удержать хоть какую-то видимость контроля над процессом, ускользающим из-под контроля с каждым новым случаем. Анализы крови этой пациентки, как и двух предыдущих, не показывали ничего: ни воспаления, ни гормонального сбоя, ни малейшего намёка на органическую причину, которую можно было бы назвать вслух с профессиональной уверенностью. Психиатр, к которому её направляли первым, развёл руками и написал в заключении обтекаемую формулировку про «адаптационное расстройство неясного генеза» — формулировку, которая ничего не объясняла и означала лишь то, что врач тоже

не нашёл, за что зацепиться, и предпочёл спрятать собственную растерянность за латинскими словами.

— У вас были похожие симптомы у кого-то из знакомых? Соседей, коллег?

— Господи, да у всех. — Женщина впервые за разговор невесело усмехнулась, и в этой усмешке было больше усталости, чем иронии. — На работе теперь невозможно находиться. Люди, которые дружили годами, вдруг начинают выяснять отношения из-за того, кто последний раз не помыл чашку в общей кухне. Я думала, это просто... зима такая. Все устали, все на нервах, обычное дело для конца года.

— А сейчас не думаете?

— Сейчас я думаю, что зима не может объяснить, почему я вчера накричала на мужа за то, что он неправильно сложил полотенце.

Клинт отпустил её с обещанием перезвонить, когда будут готовы результаты расширенного анализа, хотя в глубине души уже знал, что результаты снова окажутся чистыми, безупречно, издевательски чистыми. Он подошёл к доске, где на протяжении последних недель собирал разрозненные данные по всем похожим случаям, — не потому, что кто-то поручил ему это официально, а потому что не мог перестать видеть закономерность там, где официальная медицина видела лишь совпадение, слишком много совпадений, чтобы называть их совпадениями с чистой совестью.

Восемнадцать случаев. География расплзалась по всему городу без всякой видимой системы — не один район, не одна возрастная группа, не общий круг общения, не общее место работы или учёбы. Единственное, что объединяло всех восемнадцать: внезапная, необъяснимая эскалация мелких бытовых конфликтов в отношениях, которые прежде считались устойчивыми, проверенными годами. Не депрессия. Не тревожность в классическом понимании — он проверил критерии дважды, ни один случай не укладывался чисто. Что-то куда более специфичное — избирательное разрушение именно способности прощать мелочи, будто у каждого из этих людей вдруг иссяк какой-то внутренний резерв терпимости, который прежде считался неисчерпаемым, бездонным колодезём, из которого черпали, не задумываясь, что дно вообще существует.

— Ты опять здесь допоздна.

Клинт обернулся — в дверях лаборатории стояла Марина, коллега из соседнего отдела, с которой они делили не только этаж, но и привычку задерживаться на работе дольше положенного, обычно молча кивая друг другу на прощание где-то около полуночи.

— Смотрю на эти случаи с эскалацией конфликтов. Восемнадцать за месяц, и я не могу найти ни одного общего патогена, ни одного общего фактора среды, вообще ни одной зацепки, кроме самой клинической картины.

— Может, это вообще не по нашей части, — сказала Марина, заглядывая через его плечо на доску, где имена и стрелки образовывали к этому моменту нечто похожее на карту созвездия. — Может, это социология, а не вирусология. Стресс копится, люди срываются, ничего нового под солнцем.

— Восемнадцать случаев за месяц с идентичной клинической картиной — это не социология, это эпидемиология, Марина. — Клинт постучал пальцем по одному из имён на доске, с той настойчивостью, с какой человек стучит по барометру, не веря собственным глазам. — Просто я не знаю, что именно распространяется. Не вирус. Не бактерия. Ничего из того, что я умею искать в микроскоп, ничего из того, чему меня учили десять лет.

Марина посмотрела на доску ещё мгновение, потом пожала плечами — жест человека, который сочувствует, но не готов тратить на чужую загадку собственное время в одиннадцать вечера.

— Может, спроси у Данила. Он историк, он любит теории про циклические кризисы общества, коллективные неврозы там, всякое такое — у него на каждый случай найдётся аналогия из какого-нибудь забытого века.

Клинт хмыкнул, но идея зацепилась где-то на краю сознания. Данил действительно любил рассуждать о подобных вещах за бокалом вина после третьей рюмки — обычно с той иронией, которая делала его теории одновременно забавными и странно убедительными, будто под шутливым тоном скрывалась настоящая, продуманная мысль.

Он не знал — не мог знать, — что нить, которую заметила Арина в далёком Саду, уже дотянулась и до его собственного города: тонкая, почти невидимая линия долга, забирающая по крупице ту невидимую валюту, которой люди расплачивались друг с другом каждый раз, прощая мелкую обиду, откладывая раздражение, выбирая согласие вместо ссоры. Валюту, которая никогда прежде не казалась конечной — просто потому, что никто и никогда не пытался вычерпать её досуха, никто не проверял дно колодца, который всегда казался бездонным.

Он остался в лаборатории ещё на час, вглядываясь в цифры, которые отказывались складываться ни в одну известную ему модель, обводя в очередной раз восемнадцать имён замкнутым кругом, будто сама форма круга могла подсказать недостающую переменную. Наконец, отложив маркер, он подумал о том, что вечером стоит всё-таки позвонить Ронни — просто чтобы услышать её голос, привычный, живой, и убедиться, что у них дома всё по-прежнему в порядке, что круг восемнадцати имён на доске не имеет никакого отношения к четвёрке, к которой он сам принадлежал.

Глава 7. Мобилизация Архитектора

Зал живого света собирался за один и тот же промежуток времени, что и всегда, — но в то утро Ферен, идя по коридору из сплетённых корней к месту сбора, отметил нечто, чего не замечал прежде: садовники шли быстрее обычного, почти не переговариваясь друг с другом, будто уже знали, что услышат, и предпочитали приберечь силы для реакции, а не для пустых предположений по пути.

Совет садовников собирался редко — не потому, что не в чем было нуждаться, а потому, что созывать его означало признать: обычных мер больше недостаточно, что решение, которое предстоит принять, слишком велико для единоличной воли Архитектора, каким бы могущественным он ни был. Логос стоял в центре зала, сотканного из живого света, и смотрел на своих старейших творцов — тех немногих, кто помнил времена до первого перемирия, до самого понятия «перемирие» вообще, когда единственным известным им состоянием была война, а не её временная отсрочка.

— Три рубежа атакованы, — сказал он без предисловий, и голос его разнёсся по залу с той ровностью, что выдаёт скорее усилие воли, чем естественное спокойствие. — Фракция Немезиды Ноль действует скоординированно, используя нашу приверженность условиям как оружие против нас самих. Танатос теряет контроль над собственной армией. И где-то за пределами всего, что мы умеем измерить, нечто вытягивает саму субстанцию нашего баланса.

Молчание в зале было не удивлённым — старейшие садовники давно чувствовали неладное, обменивались тревожными взглядами на предыдущих, менее срочных собраниях, — а тяжёлым, тем молчанием, что предшествует решению, которое невозможно будет отменить, как невозможно вернуть выпущенную из лука стрелу.

— Ты объявляешь войну, — сказал один из них, Ферен, чьи корни памяти уходили к самому основанию Сада, к временам настолько древним, что большинство присутствующих знали их лишь по его собственным пересказам.

— Я объявляю мобилизацию, — поправил Логос. — Война уже идёт — просто до сих пор мы притворялись, что можем её игнорировать, откладывать полноценный ответ, надеясь, что раскол утихнет сам собой. Пришло время перестать притворяться.

— Мы теряли фронты и раньше, — заметила другая садовница, Илара, чей голос звучал ровно, но взгляд выдавал тревогу глубже привычной. — Что изменилось сейчас, помимо масштаба?

— Изменилась природа угрозы, — ответил Логос. — Прежде мы теряли территории. Теперь мы теряем саму способность нашей реальности удерживать баланс — величину, которую я до недавнего времени считал константой, а не переменной.

Он поднял руку, и зал живого света отозвался дрожью, будто сама архитектура пространства ощутила вес того, что вот-вот прозвучит, — дрожью, которую Ферен почувствовал не ушами, а чем-то более глубоким, унаследованным с самого основания Сада.

— Раскрою резерв Седьмого уровня.

По залу прошёл ропот — не панический, но глубокий, из тех, что рождается только у существ, помнящих цену подобных решений на собственном, а не пересказанном опыте. Ферен подался вперёд.

— Ты не применял его со времён Первого фронта. Даже тогда — единожды, и то с колебаниями, которые мы все помним, потому что ты сам нам о них рассказывал как о предостережении, а не как о прецеденте для подражания.

— Тогда у меня был выбор колебаться, — сказал Логос. — Сейчас его больше нет. Утечка баланса — не побочный эффект войны. Она её причина. Если мы не остановим источник, любое оружие, любая стратегия сгорят в той самой пустоте, что поглощает всё остальное, — независимо от того, сколько побед мы одержим на отдельных фронтах.

— Что представляет собой резерв Седьмого уровня? — спросил один из младших садовников, ещё не заставший тех событий, о которых остальные говорили с такой мрачной уверенностью.

Логос помолчал, будто взвешивая, сколько правды можно доверить залу, а сколько лучше оставить неозвученным даже среди своих, — пауза, которая сама по себе сказала присутствующим больше, чем последующие слова.

— Не оружие в привычном смысле, — сказал он наконец. — Скорее принцип, доведённый до предела применения. Всё, что мы делаем, все садовники, все Жнецы, вся структура перемирия, держится на одном допущении: баланс конечен, но восполним. Резерв Седьмого уровня — это способность на короткое время сделать восполнение мгновенным. Ускорить рост там, где враг рассчитывает на истощение, сжать циклы, обычно занимающие годы, до считанных часов.

— Ценой чего? — тихо спросил Ферен, зная по опыту, что подобные вопросы Логос предпочитает не поднимать первым.

— Ценой того, что после применения баланс на какое-то время станет крайне нестабилен. Мы выиграем время — но заплатим за него хрупкостью всего, что построим на этом выигрыше. Резерв не создаёт ресурс из ничего, Ферен. Он занимает его у нашего собственного будущего.

— Ты уверен, что цена оправдана? — спросила Илара.

— Я не уверен ни в чём, кроме одного: продолжение нынешнего темпа потерь оправдано ещё меньше.

Молчание вернулось, на этот раз глубже прежнего. Логос обвёл взглядом старейших творцов, каждый из которых прожил достаточно циклов, чтобы понимать: он не просит их одобрения. Он информирует их о решении, которое уже принял, — и от этого понимания в зале стало ощутимо холоднее, будто сам живой свет притушил собственное сияние в знак признания серьёзности момента.

— Мобилизация начнётся немедленно, — сказал он. — Всем формированиям — привести оборону в полную готовность. Все резервы, включая Седьмой уровень, — под мой прямой контроль. Мы больше не сдерживаем противника. Мы готовимся выстоять — и, если понадобится, ответить силой, равной той, что бросают против нас, а возможно, и превосходящей её.

Он развернулся к выходу из зала, и в этом движении было что-то, чего никто из присутствующих не видел у Архитектора прежде: не гнев, не страх, а холодная, методичная решимость существа, осознавшего, что время дипломатии и накопления информации закончилось раньше, чем оно успело подготовиться к следующему этапу.

— А что насчёт третьей стороны? — спросил Ферен ему вслед. — Того, кто, по словам твоих Равновесных, стоит за всем этим?

Логос остановился, не оборачиваясь.

— Мы найдём его, — сказал он, — как только перестанем терять фронты быстрее, чем успеваем искать причину их потери.

— А если мы не успеем? — тихо спросила Илара.

Логос не ответил — просто вышел из зала живого света, оставив старейших садовников наедине с осознанием того, что перемирие, продержавшееся так долго, что многие успели поверить в его постоянство, закончилось не подписанием нового документа и не громким объявлением, а этим тихим, почти будничным решением одного существа раскрыть оружие, которое оно поклялось больше никогда не применять.

Часть II. Война на три стороны

Глава 8. Планета-таран

Ксель помнил Разлог-9 таким, каким видел его лишь однажды, много циклов назад, во время учебной практики: зелёные равнины под двойным солнцем, ленивые реки, петляющие меж холмов, и сады экспериментальных форм жизни — растений с листьями, поющими на ветру, животных, которых Логос выращивал ради самого удовольствия видеть, как невозможное становится обыденным. Он тогда провёл там всего три дня, но запомнил ощущение странного, почти детского покоя — редкое чувство для существа, чья служба состояла из бесконечных фронтов и расчётов.

Теперь это была пустая оболочка. Атмосфера выкачана, океаны выморожены в пыль, сама кора планеты изрезана шрамами добычи ресурсов для нужд войны — процесс, начавшийся ещё до раскола, когда садовники просто искали способ рационально использовать умирающий мир, а не превратить его в оружие. Садовники называли такие миры «выпотрошенными» — не с презрением, а с горечью хирургов, вынужденных ампутировать то, что когда-то было живым, ради спасения остального тела.

Командир Ксель стоял на наблюдательной платформе орбитальной станции и смотрел, как техники Логоса завершают последние приготовления. Разлог-9 медленно, почти незаметно менял траекторию — миллионы тонн мёртвой породы, разгоняемые системой гравитационных тягачей, вживлённых в его недра за последние три цикла лихорадочной работы, работы, которую он сам координировал, не позволяя себе задуматься о том, что именно координирует.

— Расчётное время до контакта? — спросил он.

— Восемнадцать часов, — ответил техник, не отрывая взгляда от потока данных. — Цель — орбитальная крепость фракции Немезиды на подступах к Пепельному поясу. При текущей скорости и массе — гарантированное разрушение обороны в радиусе, сопоставимом с половиной сектора.

Ксель молчал, глядя на медленно ускоряющуюся громаду мёртвого мира. Он служил садовникам достаточно долго, чтобы помнить времена, когда подобное оружие было невымыслимо, — не потому что технология отсутствовала, а потому что сама мысль превратить целую планету, пусть мёртвую, в снаряд казалась кощунством, недостойным тех, кто называл себя хранителями жизни, даже применительно к тому, что жизни давно лишилось.

— Логос лично одобрил применение? — спросил он, хотя уже знал ответ.

— Лично. Резерв Седьмого уровня уже частично задействован для стабилизации траектории — без него планету разорвало бы на части задолго до сближения с целью.

Ксель кивнул, но что-то в глубине его существа сопротивлялось этой холодной эффективности. Он вспомнил Разлог-9 таким, каким тот был до войны, — зелёные равнины под двойным солнцем, эксперименты Логоса с формами жизни, слишком нежными, чтобы выжить где-либо ещё, поющие листья, которые он до сих пор иногда слышал во сне. Теперь эта нежность превращалась в тупой, безжалостный инструмент разрушения, и от этого превращения веяло не победой, а поражением куда более глубоким, чем любое военное отступление, — поражением того, чем садовники считали себя изначально.

— Разведка подтверждает численность гарнизона крепости? — спросил он, отгоняя неуместные сожаления усилием, которое давалось всё труднее с каждым подобным заданием.

— Около четырёх тысяч Жнецов фракции Немезиды. Плюс неустановленное количество захваченных садовых техников, удерживаемых как... — техник замялся, — как рабочая сила для укреплений.

— Заложники.

— Формально да.

Ксель почувствовал, как холод от этого слова пробирает его сильнее, чем холод самого мёртвого мира за обзорным стеклом. Логос знал о заложниках — не мог не знать, учитывая точность разведданных, стекавших к нему со всех концов Сада. И всё же приказ об атаке остался в силе, без единой поправки, без единого упоминания о необходимости хоть как-то смягчить последствия для захваченных.

— Есть ли способ предупредить их? Дать шанс эвакуировать пленных?

— Любое предупреждение раскроет траекторию удара противнику, — ответил техник ровным, почти механическим тоном, за которым Ксель различил такое же нежелание произносить эти слова, какое чувствовал сам. — Фракция Немезиды успеет либо укрепить оборону, либо использовать пленных как живой щит намеренно. Логос принял решение, что внезапность важнее... возможности спасти захваченных.

— Кто-нибудь предложил альтернативу? Точечную диверсию вместо планеты-тарана?

— Предлагали. Отклонено — недостаточно надёжный расчёт разрушения при текущих сроках. Логос хочет гарантию, а не вероятность.

Ксель отвернулся от обзорного стекла, не в силах больше смотреть на медленно набирающую скорость громаду мёртвой планеты. Где-то там, среди четырёх тысяч Жнецов фракции, которую он ещё недавно считал частью собственной армии, находились люди — точнее, садовые техники, — чья вина заключалась лишь в том, что их застали не на той стороне фронта в неподходящий момент, чья единственная ошибка состояла в географии, а не в предательстве.

— Мы становимся тем, против чего воевали, — тихо сказал он.

Никто ему не ответил. Техники продолжали работу, выверяя последние параметры траектории с методичной сосредоточенностью, прежде свойственной выверке параметров выращивания новых экосистем. Разница заключалась лишь в цели: там, где раньше их расчёты создавали жизнь, теперь они рассчитывали смерть — и делали это с не менее безупречной точностью, потому что точность была всем, что у них осталось от прежнего мира, единственной константой, пережившей превращение садовника в стратега.

Восемнадцать часов спустя Разлог-9 врезался в орбитальную крепость фракции Немезиды с силой, стёршей с лица Сада не только оборонительные сооружения, но и всякую надежду на то, что эта война сможет остаться в границах, которые кто-либо ещё считал допустимыми. Ксель наблюдал удар с прежней наблюдательной платформы, не отводя взгляда, будто заставляя себя нести полную меру ответственности за координацию, которую он выполнил, — и когда вспышка удара погасла, оставив после себя расширяющееся облако обломков, он поймал себя на том, что ищет среди них хоть какой-то признак — уцелевшего сигнала, спасательной капсулы, чего угодно, — и не находит ничего, кроме тишины, которая, как он подозревал, останется с ним значительно дольше, чем сама война.

Глава 9. Учительская

Учительская пахла растворимым кофе и мелом — запахом, который Ронни любила почти так же, как запах первого снега, потому что он означал стабильность, привычный ритм дня, который редко менялся годами: одни и те же лица за одними и теми же столами, одни и те же шутки про вечно сломанный кулер, одна и та же лёгкость, с которой здесь можно было выдохнуть между уроками. В то утро, впрочем, стабильность в воздухе явно пошатнулась ещё до звонка на первый урок — она почувствовала это, едва переступив порог, по особому, слишком плотному молчанию нескольких коллег, склонившихся над своими чашками.

— Он опять не подготовил план урока, — говорила Светлана Игоревна, завуч по учебной части, чей голос обычно звучал ровно, почти монотонно, а сейчас дрожал от едва сдерживаемого раздражения. — Второй раз за месяц. Я понимаю, что у всех бывают трудные дни, но это уже систематически, Павел Сергеевич, систематически.

— Я готовил, — тихо, но твёрдо возразил Павел Сергеевич, учитель физики, сидевший у окна с чашкой остывшего чая, к которой он, судя по всему, не притрагивался уже давно. — Он лежал в другой папке. Обычная путаница.

— Обычная путаница у тебя случается слишком часто в последнее время.

Ронни, разбиравшая тетради за соседним столом, невольно подняла взгляд. Она знала обоих коллег не первый год — Светлана Игоревна всегда отличалась требовательностью, порой утомительной, но никогда прежде эта требовательность не переходила в столь личные, почти мстительные интонации. А Павел Сергеевич, обычно спокойный до флегматичности, до той степени, что коллеги в шутку сверяли по нему собственное настроение, теперь сидел с плотно сжатыми губами, явно борясь с желанием ответить резче, чем позволяли приличия учительской.

— Может, хватит, — вмешалась Ронни, стараясь придать голосу максимум лёгкости. — У всех бывают дни, когда что-то теряется. Не повод устраивать разбор полётов при всех, у нас через десять минут первый звонок.

Светлана Игоревна бросила на неё взгляд, в котором на мгновение мелькнуло что-то похожее на раскаяние, — но тут же сменилось новой волной раздражения, будто чувство меры окончательно покинуло её, не оставив даже минимальной возможности для отступления.

— Легко тебе говорить, Вероника. У тебя всегда всё идеально организовано.

Замечание было настолько беспочвенным и настолько не в духе обычной Светланы Игоревны, что Ронни на мгновение растерялась, не сразу найдясь с ответом. За шесть лет совместной работы завуч никогда не позволяла себе подобных выпадов — ни в её адрес, ни в адрес кого-либо из коллег в такой прямой, почти агрессивной форме, обычно предпочитая сдержанные, суховатые замечания, лишённые личных нот.

— Что с тобой сегодня? — спросила Ронни уже без прежней лёгкости.

— Ничего со мной, — отрезала Светлана Игоревна и, забрав со стола стопку журналов, вышла из учительской, чуть громче обычного хлопнув дверью, так что чашки на соседнем столе тихо звякнули.

В комнате повисло неловкое молчание. Павел Сергеевич покачал головой и вернулся к своему остывшему чаю, а молодая учительница английского, Настя, тихо произнесла то, что, судя по общему выражению лиц, думали все присутствующие:

— Она сама не своя третью неделю. Да и не только она.

— В смысле? — спросила Ронни.

— Ну, вспомни последний педсовет. Сколько раз обычно спокойные люди срывались друг на друга из-за ерунды? Кто-то забыл выключить проектор, кто-то опоздал на пять минут — и всё, скандал на полчаса. А в понедельник Ирина Петровна с Галиной Николаевной почти час выясняли, кто должен был заказать новые тетради для практикума. Раньше такого не было. Совсем не было.

Ронни задумалась, перебирая в памяти последние недели, и с неприятным холодком осознала, что Настя права. Мелкие бытовые трения, которые прежде растворялись в общей доброжелательности коллектива, растворялись за пять минут разговора и забывались к обеду, теперь цеплялись друг за друга, разрастаясь в затяжные, изматывающие конфликты, оставляющие после себя не разряженную обстановку, а осадок, который никуда не девался. Учительская, которая годами оставалась для неё чем-то вроде тёплого убежища посреди рабочего дня, местом, где можно было перевести дух между уроками, начинала напоминать минное поле, где любая мелочь могла взорваться непропорциональной обидой.

— Ты замечала что-то похожее у себя? — тихо спросила Настя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.